

ВИКТОР КРИВУЛИН

В П О Л Я Х Э Д Е М А

/ КНИГА СТИХОВ /

1. ЭДЕМ

Наторчались. А я перешел
В состоянье столба с телеграммой.
Рядом-дерево жизни, где плод восьмигранный,
как бумажный фонарик зажжен.

Мы составим единство, зовомое лес:
где кустарник постелим, где моху,
где приклеется бабочка-пыль, соразмерная вздоху,-
полудуша, полужилец.

---o---

2. В ДОРОГЕ ТУДА

Паденье синевы на светоносный снег.
Ступени белозны все глубже и темнее,
И есть подвал небесный, есть ночлег
В подъезде, в тамбуре, в тетради грамотея.

В длинный знак бездомности: Вокруг
залег, захолодел, замкнулся поезд.
В колесах летописи, в лепете подруг -
Горячий снег и ледяной недуг,
история забвенья и запоя.

При сумерках, при совпаденьи с Ней,
Моя судьба и мука только сколок
с Ее лица. Все глубже и темней
глядит в себя - огни в погасших селах.

Со дня крещения Руси до скорых дней
ползет почтовый поезд всех скорбей -
и простыни сползают с полок.

Страданье оупляет, перейдя
предел, доступный воспритью. Стенки
скрипят и расползаются, скрипя
и расползаясь. Тени и оттенки
разъели снег за онами. Спустя
мгновенье очнусь на полустанке
от шопота и плача в тишине,
внезапно хлынувшей извне.

— о —

3. ПРИГОРОДНЫЕ СТИХИ

Пред металлические очи
предстанешь тягостным осколком.
Я на веку своем недолгом
остался отсвета короче.

Икона. Отблик от лица.
Движок на дачном керосине,
Пред металлические силы
предмет любви — цветок, пыльца—
поставлен. Рухнул на колени
свод электрического света,
но каменный осколок тени
свистит сквозь легкое переплетенье веток.

Запрокинув голову,
дышит надо мной
ткань сети золотой
раненная тьмой.

Волосок тускнеет лампы.
Предметаллический покой
остановил суставчатые лапы.
Застыл паук — и тень его покрыла
деревню боли вековой

Над затылком невидима сила,
наливаясь падением сплошным,
будто пыльным мешком оглушила
среди кладбища бледных машин...

4. СТИХИ НЕФТЯНОГО КРИЗИСА

Неравнодушие к пыльным предметам.
Для накопленья круглого жара
в цинке сфероида — резервуара
все отраженным пронизано светом.

Справа и слева дороги — цистерны.
Я предпочел бы заплыть стеарином
в жерле подсвечника псевдостаринном,
жертвуя временем неравномерным.

Нефтедобыча таинственной черни
вместе со всей индустрией сгоранья
как бы чужда ностальгии старенья —
но изводимая из заточенья

жидкость — энергия, жидкость — свеченье
приобретает все большее сходство
с черным фонтаном забвенья,

*Мир провозглашен
забытым
аналогично,
будто бы
в нем раса
улыбок
и слез*

с памятью рода — подкорковой, костной
с золотом ^вдевятнадцатом веке
с бронзой под золото, с краской под бронзу,
с девушкой, тронувшей красную розу—
и опалившей пунцовые щеки!

*Пунцовые щеки
длинной
на память розе*

5. СТИХИ НА ДЕНЬ АВИАЦИИ И АСТРОНАВТИКИ

Крошево или судьба? Украшение праха
больно рисуют — как послевоенные дети,
голубые от недоедания и страха
синими карандашами по рвущейся возят газете.

Сквозь разрывы клеенка цветет
колокольчиками и васильками—
тысячекратный букетик, осколок высот
полузатерт, а много себе не искали...

Крошево или судьба! Неочиненный грифель
не оставляет следов — только в тучах просветы.
Синий сквозит самолет — прекрасная гибель,
словно морская звезда с бугреватым излучьем, — воздета.

Так любить неживых не дано
никому, как любили, как если б
на клеенке прожженная дырка сводила в одно
место всех, кто еще не воскресли.

Если же это судьба, то житейского краха
не убегают— но, сгорбась и голову в плечи,

Как выходящая из-под воды черепаха
или же летчик — земле, что рванулась навстречу.

Как мелькает! как мельком! как мел
синевы нутряной не скрывает —
если яркое солнце и ясно увидеть успел,
чем кончается боль роевая!

Если я давно пригвожден, как надолго я вдавлен
точкой невидимой в тонкослоистую почву,
где и любовь неземная питается давним —
дафниями сухими да мотылем непорочным...

Рисовали бы царствие рыб!
либо цельный брикет океана,
или только детей— синеватых и ломких на сгиб,
или водоросли, аэродромы и аэропланы...

Нет! не судьба, не аквариум — нечто напротив.
Автопортреты меня окружают, как точку зиянья.
Стол пробуравлен. В отверстие воздух выходит.
Все нарастающий свист. Разбеганье созвездий. Сиянье.

6. НАСЛЕДУЮЩЕМУ 9.5.75.

Наследующий ложь, на следующий день
после пожара в розовом доме
послушай плач по гробу своему!

Платки со смертью пограничных деревень
сбиваются, сползают обнажить
младенческой макушки слабинку,
и темя освещает седину
теплом и светом внутренним. Лежит

Апрельский снег на голове старух.
Наследующий ложь находит по следам
свой материнский дом, где глубинный пух
кружит по комнате, слетается к устам.

Забьется в глотку столько тишины,
что рад заговорить, воспомнянув
минувшую войну — ее железный клюв,
вскормивший смесью крови и слюны

Грудное сердце! рад бы обсказать,
заговорить огнями, словно куст.
Но полон рот. Но слышен хруст
костей, и Голубинная тетрадь
для записи единственной чиста.

Раскроешь — там лежит Наследующий ложь.
Он плоше фотографий, он похож
на дырку в основании креста.

Вокруг него, истекши из ступней
Извечной крови струйки запеклись...
Как дерево креста, лишенная корней,
он вырос из земли, где мы не прижились,

Но блудными детьми вернемся к ней.
Он только след и ржавчина гвоздя.
Насквозь его, все явственней сквозя,
все чаще и бедней,

минуя речки, пристани, мостки,
ведя наверх и вдаль послушные зрачки,
растет земля холмов и невысоких гор —
так незаметно голос входит в хор,
условный разрывая волосок,—
границу горных — горных высот.

— — — —

7.

Медь — воск

Воск — прах.

Восковой человек стоит на углу
Обеими руками держит прямую свечу
Воск — восх.

Пламя на уровне глаз.

Левый зрачок светлеет — всмотрись!
Восковой человек — цинковый гром,
глядя в разрез гиацинта.

Пламя — головка лука.

Пламя — разрез — человек.

Совсем стемнело в правом зрачке,
пора — зеленую лампу.

Восковой человек на углу горит.

Полковой оркестр уходит под мост —
медного раструба хвост.

Слава уходит, военная слава !

жаренные соловьи

тянут вослед медоносные клювы свои
с ягодкой клюквой, с горошиной в горле свистка.

Угловой человек, этот конский каштан,
этот Пушкин деревьев и солнца славян
держит белые сени, как пенье сверчка.
Медь — медь. Воск — медь.

Процессия уменьшающихся лиц—
— перспектива— проекция— перенос —
по клеткам с листа на лист.

Уплотнение клетчатки вперед и вдаль.
Друзья, друзья обращаются в пыль
Церковь — луковка — плач!
И зелени есть предел, если смотреть вглубь—
— в — болото — в — болят— глаза. Глаукома
предвосхищает прозрение Эдипа:
только слепой в этой родине дома,
в нем глубоко зеленеет липа,
воск его облипает со всех сторон,
весь он — черный фитиль.
И треугольное пламя высоким углом
подыхает над ним!

8. ГРАД АПТЕЧНЫЙ

По сравнению с бойким началом
века посрамлены!
Опыт мизерной влаги,
волосатый флакон тишины.
Из мензурки в деленьях, на треть
полной света
в ленинградскую колбу смотреть
зорким зреньем поэта —

вот занятие для чистых аптек.

На ритмическом сбое

остеклененными пальцами снег

затолкать под язык меж собой и собою—

вот Элениум. Воздух зеленый.

Свет озерного льда.

На витые колонны

поставлено звездное небо. Звезда

с мавританского кружева — свода,

закружась, до виска сведена—

и стоит неподвижно. И тонко жужжит тишина,

под притертой пробкой прожитого года.

Опыт полуреальности знания

в потаенном кармане растет,

достигая таких дребезжащих высот,

что плавник перепончатый — мачта его наркоманья—

изнутри костяным острием оцарапает рот.

Мы на рейде Гонгонга

в бамбуковом городе джонок

нарисованы резко и тонко

иглокожей китайщиной, барабанным дождем перепонок.

Дождь. И в новых районах

наутина плывет стекляная.

На ветру неестественно-тонок,

не реальной Китая.

Человек в состоянье витрины.
Диалог манекенов,
театральной лишенный пружины,
обоюдного действия — плена.

Мы свободны молчать.
Фиолетовых уст погруженье
в истерию искусственного освещенья,
в нарочистый аквариум ночи. Печать
монголоидной крови стирая со лба,
разве трубок светящихся ты не услышал жужжанье?
Человек у витрины приплюснут. Лицо обезьянье.
Две лягушких ладошки — на каждой судьбе.

Нет уродливей рук. Недоразвитых век
дышит полупрозрачная пленка.

Свет жужжит непрерывно и тонко.

К витринет приник человек.

Мы проникли стекло. Мы вернулись в обличье ребенка.
Мы, старея, дошли до зародыша — вверх!—
до гомункула в колбе, домыслив в царевом мозгу,
до пиявки звезды, что прильнула к виску.

Вот он опыт — болезнь!

Каталепсия мига,
где в один иероглиф укола — как тесен!—
всей российской истории втиснута книга.

9. МЯСНАЯ ЗВЕЗДА

Нищ! Нищ! нищ!

Но не о том. Ненаполнены вещью
рты раскрытых жилищ,
их собранье овечье
цитирует Ницше на блеющей ноте.
Новостройки острижены.
Окна искрят на болоте.
Добелелись глаза до ресниц.

/ бденье китайцев — отшельников: чай
растет из молитвы — не спать!
вырываете рисничину — в медном котле закипает
медно — кирпичный рай/

Ни-ку-да
не уходит ничто. Ниоткуда
Ничто не приходит. Звезда —
— человек, пятипалая грудка
мяса грудного —
он лежит головой на восходе,
ступнями во тьме.
Он пульсирует — чудо морское —
в руках рыболова.

/ бденья афонских монахов красны
телом жаровни, околышем века, —
и достигает слеза до китайской стены,
до медного таза и гулко-го эха/ эха!

Но не они —
мы ничего не имели,
что глазницам пустым не сродни!
Хвалимся пылью постели,
пылью зеркала, где безымянным
пальцем город намечен
с главной площадью и фонтаном—
местом любовной встречи...

Ладоны? / бденья дубовая кадка — когда
зачерпнула долнь в глубление линий
сеть валдайских реченок — и долго стекала вода
с бороды клочковатой по засмертной холстине/

Забирайся в стеклянный пузырь!
мне мила эта шерстка
и бычье нутро, и пузырь,
меж кварталов обугленный жестко.

Я — звезда этих мест!
Я мясная звезда,
сердце пляшущих звезд,
сердце блестящих, алчущих, жаждущих, блеющих! Бденье
и пост.

Пост и бденье, какая ни хлещет погода.

10. НИМФА РЕЧИ

О нищите — где ни ищите —
ни слова. С бедным словарем,
ты более всего нуждаешься в защите—
ты, воплотившаяся в женщину вдвоем
с возлюбленным, который пережил
твою любовь, ты ужас быть одной

песчинкой, утеканьем сил,
ты сон о море с той голубизной,
какая невозможна не во сне, —
произношенья влажная подошва,
когда ступить на землю невозможно,
ни жалобу излить вовне...

Как женственна стихия речевая!
Наплывы рук — и жесту обречен
язык сочувствия и врачеванья,
язык, владеющий врачом.

О чем ни ^изаякнись — уже мертво.
О нищете, о нише, о пробеле
твердит само отсутствие. Разделим
незащищенной жизни вещество
на всех несуществующих — на них,
исчерпанных двумя — тремя словами, —
кому давно не до картин и книг
в ячеистых стенах существованья!

II. ЭЛЕГИЯ А.В.

Поле грусти сладчайшей.
Позлащенные степи
поглащают мой возглас, мой лепет...
Правда ли твой? отвечай же!
Нет. — я молчу — Нет.
Принадлежность зеленого цвета
к тысячекратным дробленьям травы.
Кто же мы, кто всегда неправы?
кто не то и не то и не это?

Только призрак, я краска и форма, и я не предмет
в поле грусти сладчайшей...

Ослепительно белые гуси
в поле зрения, в центре сияющей чаши.
Но и при безупречно отточенном вкусе
есть малейшая точка ничтожности, крап.
Едет чистый крестьянин.

Ты ли, дух мой, бредешь, отягченный костями?
ты ли, тело, мой брат, неразумен и слаб?

Сфера оттолкновенья:

кто в семью, кто в тюрьму, кто на запад —
прилепились. Растет красота. Шкаф незаперт,
дверцы длинно скрепят, подгибая колени...
Видишь поле — как полка, лишённое всяких примет?
Вижу, милый, тебя не узнаешь!
Я не цвет и не линия! я не воздух сухой—
наклоняюсь над каменным ухом, касаюсь щекой
края звука, пустынного края...

Здесь строфа опущена:

содержание ее настолько бесформленно,
что обречена всякая попытка
высказаться при помощи рифмы.

Монах яйцевидного круга.

Две луны — в центре каждой ладони
по серебряной дырке, и пропасть — подруга
посредине, где звездный мерцает хребет.

Где же ты уловим, темный зверь, изгибаясь упруго?

в отрешеньи? в аскезе? в каноне?

Нет! не нынче, о нет.

Поле грусти сладчайшей — вот поле.

Шкаф пустой посредине двора.

Раскрываются двери без помощи ветра,

без насилия рифмы и боли —

и всего то: слой пыли, гусинный обглодыш пера.

Я куда не сверну — все фанерная стенка.

Вот сюжет, говоришь, я не спорю, конечно, сюжет—

вот. Но если душа — отщепенка,

словно щепка в руке, словно щепка, подобна органу,

и строем волокон древесных пронизанный свет

истекает из раны и льется на рану,—

если так, я и мебелью стану с надеждой,

чтобы слышать: магнитное поле звенит,

и пронизано звуком, как влагою — воздух прибрежный...

Но ни воздух, ни гул, ни шуршанье гальки, ни взрыд

равномерного моря — убожества не заслонят

в поле грусти сладчайшей...

-----0-----

12.

Белизна и дремота.

Пробуждение, бел- белизна и дремота.

грохот мотоциклетных цилиндров, весна- и дремота.

Велосипедные шины по гравию, и ожиданье, и шорох бол
край тишины выходной.

Я работал в какой-то конторе.

Дважды в неделю корабельные сосны лежали,

если не падало черной субботы —

дважды текли параллельные сну горожане.
То бытие Баратынского, что безымянно,
дважды в неделю ко мне объявлялось:
полудремота — полупоступок, нет, полустанок...
И напряжение внутри и наружная вялость.

Так разнимая доступную нам оболочку,
тронем ядро изначального имени: смысла
и со — стояние слова, как точку и точку,
словно ведро и ведро на концах коромысла,
свяжет пустой промежуток пробелом почтовым...

То бытие **наутинки**
в шорохе многомачтовом.

Все подступает к заливу — и между стволами
синие столбики, блески, чешуйки, пластинки,
как на слоистой коре — и ущелья и напластованья.

Слепота и дремота.
И только меж ними увидишь
заходящего солнца ворота —
город будущий, город подземный — под зыбью болота
исчезающий Китеж.

Как забыли о страхе своем перед жизнью —
стало боязно смерти, и словно теснее
то ли в городе, то ли в груди,
то ли пятна — озера на шее,
где история пальцы оттиснет.

Такие прекрасные кисти!
прямо слепок с ладонью Шопена
в песок погружая тяжелый
и черная легкую пену,
виноградная лапа — сладчайшая — в губы впилась нам!
Отливает зеленым и красным.

Два— три слова о смерти у всех на устах,
два — три слова — не более трех.

Я работал в конторе о красных крестах,
о змее и о чаше. Но капли эпох
не Христова связует живящая кровь,
а животный, во мне оживающий страх.

Мы — огромное тело, убитое очень давно,
Встало, кажется, крепко во льду, как бревно,
проторчав до весны, — после солнцеворота
стало с таяньем пухнуть... Белизна и дремота.
Пробужденье. Бел— белизна и дремота.
Грохот мотоциклетных цилиндров. Весна. И дремота...

/ Если текст, обращаясь назад,
не найдет ни сюжета, ни явного хода,
то сама невозможность развития и поворота
есть сюжет, обращающий взгляд
от корней по морщинам сосны,
от корней — до насмешливой кроны —
но тогда возвращенье к началу — как бегство из плена!

О, счастье быть ничем
в наикруглейшем из
всевозможных обществ!

Роща этой мысли
воздушна. Ветреное рошчет
собрание листьев.

Истинно, парламент
для разведения хризантем,
для музицированья акварелью
до осени распущен... По делам ли
судить, не будучи ничем,
помимо облака под кисточкой твоей,
художник-дилетант?

Рисуешь полдень, лес,
похожий еле-еле
на рощу мысли, мыслимой не в теле,
но в самой роще, в сердце — здесь,
где света с воздухом всегда свободна смесь—
и даже на убогой акварели.

Кто более чужой, чем любящий, друг
для друга? Это правда.

Но одиночество справляется с душою,
как с водной краской в пору листопада
дождь, вырывающий из рук,

созданье робкое. Урод
с лицом пригорка и леска,
взбирающегося на пригорок,
назад не больше месяца. Погода
еще и лучезарна и легка —
но, как земля, бумага перегоркла

и стала рыхлой.

Есть клятва — землю есть
в любви или в гражданстве,
а это — в листьях и сосновых иглах,
вся — в жестких волосках. Рождаясь
над нею или в ней — бог весть—
но с нею связан,
все чаще нахожу
продавленный этюдник,
обломки раскладного стула,
обрывок — родину чужую,
где, как сова, и слепо и сутоло
сидит художник и рисует

пригорок, тучку, лес,
все менее похожим
на лес — жирно-землистый,
его месили толстые колеса,
все шли да шли, и все одно и то же —
душевное насилье пейзажиста
над матерью пространства.

Всех обниму, о ком
хотя бы слышал, хоть
вполуха — всех вмещает
наколотый на ветку / он цветком
казался издали / рисунок. И Господь
его, как розу, расправляет.

Последняя строфа —
она не моя.
Это скорее слова героя стихотворенья,
который как бы оправдывается,
и мне нечего ему сказать —
стало быть, не я прав.
